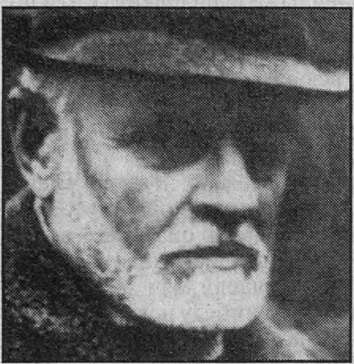


ЛИТ КЛУБ РОССИЙСКИЕ ГЕНИИ НЕ ЖАЛКО

В Северном Казахстане, в Джезказгане, куда самолеты из Москвы летают раз в неделю, живет великий русский поэт, которого у нас почти не знают



Написав это, я устыдился: Юрий Васильевич Грунина один раз уже назвали великим. Это сделал один из бывших номенклатурщиков, написавший теперь книгу и заинтересованный в его похвале. Он в Казахстане серьезный литературный авторитет, хотя выпустил единственный сборник — “Моя планета”, 1996, — и вообще в суверенном казахском государстве никто особенно не увлекается русской поэзией. Может быть, именно отсутствие среды — главная грунинская беда. Уехала из страны прекрасная поэтесса Руфь Тамарина, тоже сталинская узница. Умерли в Москве его друзья-солагерники, писатели Камил Икрамов (помните “Дело моего отца”?) и Валдим Попов. Умерли Борис Слуцкий, восторженно отзывавшийся о его стихах в 1969 году, и Илья Сельвинский, в 1964 году рекомендовавший к печати его книгу. Александр Твардовский, почти никогда лично не отвечавший на письма, писал ему так:

“В “Тетрадах” реальные отзвуки Вашей поистине костоломной судьбы, поставившей Вас в необходимость сравнивать условия человеческого бытия, послужившие материалом для первой тетради, с условиями, породившими вторую. (Так — не называя вещей напрямую — Твардовский пишет о сравнении условий фашистского плена, о которых Грунин написал свой первый цикл, с условиями сталинских лагерей, где написал второй, причем сравнение выходит не в пользу сталинских, — Д.Б.).

И речь не о том, чтобы обеспечить сохранность Вашей рукописи, — она будет сохранена, как и другие, в поместительном архиве “Нового мира”. Но мне кажется, не попытайся ли Вы, может быть, на том же кровавом материале сделать что-нибудь сейчас более обозначимое, чем лирический дневник для себя. Мне искренне хотелось бы, чтобы Вы свою лагерную музыку не считали принадлежащей только тем временам по причине — внешней — невозможности опубликования “Тетрадей” сегодня”.

Все эти деликатные формулировки тридцать лет спустя понятны. В шестидесят в восьмом Грунин опасался нового ареста, как опасался его вообще всю жизнь, и стихи отправил не столько для публикации в “Новом мире”, сколько для сохранения, как отправляют документ. Внешняя невозможность публикации — вещь, не требующая объяснений. Совет писать “что-то общезначимое” — прозрачный намек на обращение к прозе (далее Твардовский приводит в пример Солженицына). Прозу Грунина, на верное, действительно легче было бы опубликовать. Его очерк о Кенгирском восстании “Знамя” напечатано в марте 1990 года, а большой журнальной подборки стихов в Москве нет и поныне, не считая полосы в “Огоньке” с подачи Дмитрия Сухарева. Стихи же не могли пройти в печать по причине невероятной своей плотности, силы, густоты словесного ряда, — в них мука военнопленного и тоска лагерника запечатлены с такой силой, что долго их читать и сегодня нет никакой возможности.

Плюс к тому писать Грунин не мог — фашисты не давали бумаги, наши нашли бы и уничтожили тексты вместе с автором, — и он, как большинство лагерных поэтов, все запомнил. А чтобы запомнилось, в стихах должно быть много реальных, и нужна плотность, и слова должны вступать в сложные игры, — отсюда необычайная теснота, духота этих текстов, непрозрачность их концентратива. На фоне русской поэзии наших дней с ее воляжностью, забавливанием, дурной бесконечностью необязательных



Рисунок Александра Кукушкина

Вечерний клуб. — 1999 — 31 апреля. — с. 17

слов — стихи Грунина выглядят гостями чуть ли не из конструктивистских двадцатых.

“В пекло медной земли, к каторжанам в спецлаг. Двум смертям не бывать. Хотя живи, хоть умри, бездыханным здесь ляг — должен медь добывать. Вагонетки руды — будет хлеб за труды. Будешь петь забывать. Будешь медь добывать”.

Он начал печататься в конце тридцатых, в Казани, куда уехал из родного Симбирска в художественное училище. Тогдашним председателем молодежной секции казанского отделения союза писателей был будущий почетный антисемит Михаил Бубеннов, автор “Белой березы”. Говорят, после смерти Сталина Бубеннов опять пытался стать приличным человеком, помогал молодым, — но таким Грунин его не видел. А в молодости Бубеннов высоко ценил талант молодого художника. Писать стихи и рисовать Грунин начал почти одновременно, и то и другое получалось неплохо, и в том и в другом преобладал чертеж, конструкция, строгая продуманность формы. Стихи показали Мусе Джалилю — тогда одному из самых известных татарских поэтов, впоследствии узнику Моабита, автору потрясающих стихов из плена. Джалиль был мал ростом, худ, замкнул, стихи похвалил сдержанно. Но поскольку хвалил он кого-то редко, Грунин был рад.

В сорок первом году Грунин работал в казанском пехотном училище, оформлял плакаты, потом оно же его и мобилизовало. В сорок втором, в мае, он был тяжело контужен под Старой Руссой, ночь провалился без сознания, а утром его подобрали штурмовики из “Мертвой головы”. Год он протомился в лагере для пленных в деревне “Малое Засово”, — лагере, где кормили русским хлебом, отправленным в Германию в 1939 — 1941 годах. Нашего хлеба туда ушло много. Буханки эти тщательно сохранялись, герметично запаянные в пакеты, и теперь их выдавали русским пленным их немецкие охранники. Приходили и другие гостицы от Родины — наши самолеты несколько раз обстреляли лагерь наших пленных. Наши пленные были для них уже не совсем люди.

То, что писал тогда Грунин, не имеет аналогов в мировой поэзии. Были люди, писавшие стихи из плена, но человек, создавший о плене эпос, огромный — на полторы тысячи строк — цикл, ослепает уникалостью. Стихи спасали его: он подолгу искал слова, каждую строфу выкладывал, как стену, и это позволяло каких-то вещей не замечать. Он и сейчас на удивление равнодушен к быту, не замечает, что ест, и только в одежде сохраняет старомодную элегантность. Зато со времен плена и лагеря стало у него привычкой, если не потребностью, играть словами, сталкивать их, каламбурить, извлекать новые смыслы, — это был род самогипноза. Иногда это делает его поэзию трудночитаемой, но чаще сообщает ей особую наполненность. Кому-то, вероятно, не понравится формальное совершенство его лагерных стихов. Страдание, внушали нам, должно быть бесцельно. Но осмелюсь напомнить, что именно виртуозная отелка стихов, доведение их до совершенства, изнурительная шлифовка каждой строчки и была тем единственным наркомом, который позволил Грунину выжить, забываваясь хоть иногда и отвлекаясь от мыслей о прошлом и будущем. В армии кто-то вкладывает весь дух души в шифровку и раскраску дымельских альбомов, кто-то мудрит над амуницией, а кто-то пишет такие же стихи.

“А тут у нас всякие-всякие, тут разных полным-полно, но я о Саньке Овсянникове хочу рассказать давно. Он длинный такой, как жердь, издерганный, как фокстрот, он бледный такой, как смерть, хрипит о себе “Фольксдойч!”. Он держит фасон, фольксдойч. По-нашему он — хвост-дойч. А вызвался он служить — на вышке стоять, сторожить. Скелетом-шатром строил под вышкой стоит сортир, а Санька над ним — орел: осанку и нимб обрел. И целую ночь вот тут идет из дверей к нему — идут под дождем, идут к уборной по одному. Вот так же пошел и тот, которого пуля жжет. Пошел он, большой, в сортир, где Санька башкой крутил. А Санька ему орет: “Эй, жид, тебе пулю в рот!”. Палил он в упор, упырь. Убил он его, убил”.

Я думаю, так до него не писали. Разве что Слуцкий стал делать что-то подобное, но и то в пятидесятых. Грунин сам говорит о том, что в лагерных разговорах и мыслях была непривычная степень свободы. Человек был поставлен в экстремальные обстоятельства, исключавшие демагогию. Тут нужна была грязная, голая, огненная правда. И он ее говорил: “День так долог, долог, долог, долог. День так нескончаемо жесток. Это голод голод голод голод замедляет времени поток. Немец, крыса, показавшись, скрылся в будке отбывать свои часы. Это крысы крысы крысы рыскают сегодня по Руси. Слово черви в сумраке вечернем, немцы выполняют из щелей. Это черви черви черви черви расползлись по родине твоей”. И таких стихов — полсотни, и какова цена каждому — представить себе невозможно. Все держались у него в голове, ни один не был записан.

— Вам случалось драться в лагерях?

— Иногда мы били тех, кто не выполнял норму.

Эти стихи были порождены двумя основными чувствами: ненавистью к тем, кто унижал его, пытаясь превратить в голодное, зашипевшее животное, — и тоской унижения, пронизывающей от полной своей беспомощности. Он создавал, что пленный становится недочеловеком не только для чужих, но и для своих. При его характере и темпераменте это было невыносимо.

В начале сорок третьего он попал в так называемый “Тодт”, названный так по фамилии инженера, придумавшего этот немецкий стройбат. Сначала туда попадали немецкие нестроики или неблагонадежные, потом стали брать пленных — русских, французов. В “Тодте” работал шолоховский Андрей Соколов, только Андрея Соколова наши особенности отпустили, поскольку строительство дорог и оборонительных сооружений не может приравняться к боевым действиям, — а на самом деле, как Грунин узнал впоследствии, это ни от чего не спасало, и военнопленные в большинстве своем приравнивались к служивым в германской армии. Ну и что, спросил егоследователь, что вы строили дороги? Вы же носили немецкую форму!

Немецкую форму им действительно выдавали — окровавленное тряпье, снятое с мертвецов.

“А деревянные башмаки — тоже немецкая форма?” — спросил Грунин.

Следователь отмахнулся. После победы Грунин мог остаться в английской оккупационной зоне, но не разрешил себе этого: “Они нас сманивали гражданством. Но я же чувствовал себя русским поэтом! Я хотел продолжать учиться на художника! Кто заставил бы меня бежать? Я не был уверен, что наши нас хорошо примут, но надеялся, что выслужу прощение: я же сохранил комсомольский билет, а все либо закапывали, либо уничтожали!”.

Когда он положил перед следователем этот чудом сохранившийся комсомольский билет, тот сначала опешил, но быстро нашелся: “Индугендией запаса? Не выйдет!”.

Он ждал расстрела, но получил десять лет. А главное обвинение в его адрес было, что он для немцев рисовал Гитлера. За хлеб и водку. Он никогда не рисовал Гитлера. Никогда не пил водки (не пьет ее и сейчас). Но следователь решил, что раз он художник (его даже попросили нарисовать для советской оккупационной зоны несколько Сталиных), значит, обязательно рисовал Гитлера. Такова была логика. И Грунин поехал отбывать свой срок в Соликамск.

А дома его ждали отец и мать, у которых он был единственным сыном и которым он успел из лагеря репатриантов отправить несколько писем со стихами. Они были счастливы, что он жив, и верили, что скоро его увидят. Но вернулся он только через десять лет. Все это время они хранили его стихи. Правда, поселиться у них он уже не смог — жилищная за репатриантов не сохранялась. В Джезказгане квартира, жена, он

918

работал архитектором — и понял, что перебраться в Россию поздно: здесь у него не было ничего. Может быть, это решение и определило его литературную судьбу: один из лучших русских поэтов, создатель уникальной летописи плена и лагеря, он не печатался до начала девяностых, а в начале девяностых уже ничто никому не было нужно. Боюсь, и ему.

В Усольяге его спас Икрамов — пристроил расписывать столовую. Там была возможность общения, сочинительства, рисования — Грунин очень много рисовал, и на заказ, и для души. Он сохранил лагерный портрет молодого Икрамова — с огромными глазами за стеклами очков, с длинным носом, с выражением детского-растерянного, хотя сын врага народа имел уже немалый лагерный опыт. Там же Грунин с невероятным для лагерного художника мастерством и до тонкости изобразил известного архитектора Людвигу, с которым сидел. Сочинял он уже не о Родине, относительно которой никаких иллюзий больше не питал, — а о любимой, которая растила сына, названного в его честь, и все ждала его, хотя отцом ее сына был совсем другой человек.

“Светит Кама огоньками. Снегу нанесло. Новый год подходит к Каме — первое число. Я

хотел бы, между прочим, словно по волшебству самым скорым, самым срочным прикатить к тебе! Как ты думаешь, ушла б ты, если б на балу подошел к тебе в бушлате камский лесоруб? А с утра валить мне сосны, да сучки рубить, да тебя любить несносно, до тоски любить. До тоски — без писем разных, без надежд и льгот, будь то будни, будь то праздник, каждый день и год”.

А письма ему полагалось отправлять только дважды в год — политический. Он нашел способ передавать письма чаще, и когда это преступление раскрылось — его на год лишили переписки вообще.

В сорок девятом году его перевели в Степлаг, где были одни политические, и там на месте будущего Джезказгана (который и переводится как “медная копь”) он работал еще шесть лет, до освобождения в пятьдесят пятом. Но реабилитации не последовало — военнопленным она не полагалась.

Был он в Степлаге и во время знаменитого, описанного Солженицыным Кенгирского бунта (только бунт начался не из-за того, что заключенные требовали смягчения режима, а оттого, что блатные, которых летом 1954 года привезли к политическим, сломали стену, отделявшую их зону от женской). Правду о Кенгире Грунин рассказывал в только что изданной повести “Спина земли”. Совет Твардовского писать прозу все-таки пригодились ему.

Ссылку ему отменили, но реабилитация не дали и тогда. Он остался в Казахстане и собрал маленькую книжку стихов, но кто-то из коллег накатал на него донос в ЦК — мол, нереабилитированный, из бывших пленных, не всех же огульно оправдывать, — и набор его книги рассыпал. Любые попытки опубликовать стихи о плене и лагерях наталкивались на железное сопротивление: Грунин хотел непременно издать стихи о плене вместе с лагерными, в этом была суть его замысла, чтобы ясно стало, до какой степени между двумя режимами нет разницы (и то, вспоминает он сейчас, кормили одинаково, а работать тяжелее было у наших). Но именно этого-то знака равенства ему и не давали поставлять. До девяностых у него не было книги, да и последнюю поэму — “По стопам строк”, вещь горькую, жесткую, итоговую, — издала его дочь: набила на компьютере, размножила, и он раздает ее немногим приятелям.

В 1991 году его по рекомендации Евтушенко (которому очень многое можно простить и списать за помощью старому поэту, прожившему такую жизнь) приняли в Союз писателей, но книги по-прежнему не издали.

Он не ангел, он суровый и замкнутый человек, хотя и весьма обаятельный в общении. Лысый, зубов давно нет. Говорит ровно, старомодным изысканным слогом, мата не употребляет.

— Вам случалось драться в лагерях?

— Иногда мы били тех, кто не выполнял норму, — из-за них хлеба недодавали всей бригаде.

— Вы написали в лагере много любовных стихов, даже несколько эротических. Неужели было до того?

— Нет, скорее это самогипноз, способ отвлечься. На самом деле в лагере почти все время хочется только есть. Стоит чуть подкормиться — конечно, желания возвращаются.

— Вы женаты, но живете отдельно от жены. Многие лагерники, с которыми я был знаком, предпочитали устраиваться отдельно. С чем это связано?

— Думаю, с долгим пребыванием на людях, с желанием оставаться одному, читать, работать...

Работает он много, режет по дереву, рисует, читает, чертит. Значительная часть джезказганских домов выстроена по его проектам. Прежде он вел обширную переписку, выписывал все толстые журналы, но сейчас на журналы не хватает средств, а большинство друзей разехались, умерли или перестали ему отвечать, потому что в старости людям все меньше интересны другие. Замыкается и он, хотя, как видно по разговору, остается в курсе всех новостей. В городе у него мало друзей, но здоровается с ним почти все, и даже сосед, то ссорящийся с женой до воплей и бития посуды, то мирящийся с таким же пылом, относится к Грунину как к местной достопримечательности.

“Мне будет до конца казаться — не по заслугам эта честь: я в “Строфах века” еду зайцем, притянут за уши как есть. Да что там охи, междометья, когда пора вращать в траву: живу три четверти столетия, как по инерции живу. Строка стиха — мы с ней дружили, с ней шли на тяготы в штыки... Сильнее всего люблю чужие, душе созвучные стихи”.

Любить свои — ему уже, видимо, слишком больно. Это он написал, найдя свои двенадцать строк, посвященных Икрамову, в “Строфах века”. Слава Богу, что он попал туда.

Я не могу здесь цитировать много его стихов и уж тем более вынужден обходить молчанием большие поэмы. По фрагментам, да еще печатаемым в строчку, почти ничего не поймешь. Но пусть мне поверят на слово — он действительно большой, ни на кого не похожий поэт, и его опыт душевной стойкости, прямоты, силы нам сегодня, в наши всепроданные времена, насущно необходим. Если бы в Москве издали достойную, большую его книгу! Если бы он смог дать здесь, хотя бы в Политехническом, первый свой московский вечер! Если бы о нем вспомнил Александр Исаевич Солженицын, вручающий теперь ежегодно свою премию! Ведь Грунин сделал в поэзии то же, что Солженицын — в прозе: рассказал о судьбе миллионов, прошел сразу два круга ада — гитлеровский и сталинский, — и выжил, сохранив достоинство, ни разу им не поступившись! Он непростой человек, но жизнь так его и не доломала:

“Поэт — растяжимо понятие: в поэтах кого только нет! Поэт обречен на распытие, когда он российский поэт. Не тот, что на спице железной, как флюгер, ветрам подчинен, а тот, кто над самой бездной встает из распутия времен и, власти наливья переча, ступая по льду тишины, вдруг вырубит в нем: “Наши речи за десять шагов не слышны”. Он прав: никакого звучанья для правды на родине нет. Поэт обречен на молчанье, когда он российский поэт. Мы гложем, дичаем, немеем, нас всюду встречают клыки. Чьей новой кровью мы склдем суровых веков позвонки? Гудит колокольною медью, уходит, за все нам воздав, двадцатое злое столетье, сегодняшний век-волкодав”.

Это написало уже в наши дни, во время очередного испытания, которое выдерживает поэзия Грунина: она была запретна, была пытаема, теперь никому не нужна.

Или все-таки так не бывает?

Дмитрий БЫКОВ,
специальный
корреспондент “ВК”
Джезказган — Москва